

В. М. Лурье

Когда интеллигенция ушла, ... а наука осталась.

Размышления по поводу книги Д. М. Буланина «Эпилог к истории русской интеллигенции».

(Д. М. Буланин. *Эпилог к истории русской интеллигенции. Три юбилея.* СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. 256 стр.)

Ранее рецензия была опубликована в Русском Журнале:
<http://www.russ.ru/publishers/examination/20050616.html>

В 1997 году, в пору всенародного юбилея академика Д. С. Лихачева (1906—1999), прогремел в узких кругах скандал с посвященной юбилюру статьей его ученика и коллеги Д. Буланина, опубликованной журналом «Русская литература». Вскоре на страницах того же журнала на нее ответил, и довольно резко, сам юбиляр. Тогда, зимой 1997—1998 годов, я обо всем этом слышал, но не читал: отчасти из-за того, что меня не интересовали подробности взаимоотношений около Пушкинского Дома, а отчасти, наоборот, из-за того, что к чему-то из этого я стоял настолько близко в реальной жизни, что не хотелось об этом еще и читать... Теперь вижу, что я тогда был неправ.

Оказалось, что Д. М. Буланин собирал по частям и, наконец, собрал панорамный обзор современного состояния русской интеллигенции и, что немаловажно отметить, с ее собственной точки зрения. Это гораздо интереснее и важнее, чем личные судьбы, но только на материале личного опыта удастся об этом рассказывать. Не вина Д. М. Буланина, что для последовавших после юбилейной статьи Д. С. Лихачеву его работ на ту же тему он не смог найти никакого другого издателя, кроме самого себя. Зато сейчас мы имеем изящно изданную книгу, состоящую из трех крупных блоков, но не распадающуюся на них, так как они вполне органично связаны по содержанию. Первый блок посвящен Д. С. Лихачеву (статья Буланина 1997 года вместе с ответами на нее самого Д. С. Лихачева и Б. Ф. Егорова), второй — О. В. Творогову (не издававшаяся ранее обширная статья к его 75-летию и, в качестве приложения к ней, автобиографические материалы самого Олега Викторовича), третий — издательству «Дмитрий Буланин» и его не просто организатору, а, прямо сказать, душе — скончавшейся накануне выхода этой книги Татьяне Буланиной. Всему этому предшествует краткий очерк («вместо предисловия») с жутковатым названием «Annulatio Studii». Это название специально по просьбе автора придумал филолог-классик А. К. Гаврилов, имея в виду создать антоним средневековому понятию *translatio studii*: по мысли автора, теперь в России всякая «трансляция» серьезной науки «аннулировалась» вместе с наукой.

В книге несколько сквозных сюжетов, из которых совсем неинтересным, да и то, только на мой взгляд, является лишь один — политика. (Из написанного ниже причины такого восприятия мною политических взглядов автора станут настолько очевидны, что никаких упоминаний о политике здесь больше не будет). Остальные — интересны до крайности и близки лично мне, что и побудило меня откликнуться на книгу Д. М. Буланина. Главные из этих сюжетов — «интеллигенция и наука», личность Д. С. Лихачева, перспективы науки в современной России (или отсутствие таковых), постановка изучения литературы Древней Руси, организация научного книгоиздания и рынка научной литературы. По каждой из этих тем автор выступает экспертом, в квалифицированности которого вряд ли имеет смысл сомневаться. И в науке о древнерусской книжности, и в современном научном книжном маркетинге Дмитрий Буланин — одно из самых известных и справедливо уважаемых имен. Но именно поэтому важно и интересно поспорить именно с ним, и именно потому, что ты очень во многом с ним согласен.

Главная из сквозных тем книги — это, разумеется, «наука и интеллигенция», «интеллигенция и наука». Все остальные являются по отношению к ней как бы частными производными. Но мы начнем обсуждение, вслед за самим автором, с одной из таких частностей — впрочем, самой характерной — личности Д. С. Лихачева.

1. Д. С. Лихачев как миллет-баши русской интеллигенции

Выраженная в юбилейной статье Лихачеву мысль о том, что академик уже более 20 лет как ушел от науки и стал учителем жизни — была воспринята многими как оскорбление, несмотря даже на то, что сам автор статьи даже слишком настойчиво (на наш и, кажется, на свой нынешний взгляд) обосновывал его право учить и лишь сетовал на бесполезность такой проповеди.

Коллеги-литературоведы хотели сказать в ответ, что научная деятельность Д. С. Лихачева продолжается, но, впрочем, у них это плохо получалось, и оттого им было только еще обиднее за юбиляра. Тут характерен аргумент Б. Ф. Егорова: он ссылается на научный аппарат к новому, 1996 года, изданию «Повести временных лет»; но всё *новое* в этом аппарате принадлежит исключительно М. Б. Свердлову, а труд Д. С. Лихачева переиздан ровно таким, каким он вышел в 1950 году. На книге ясно указано, что второе издание подготовлено М. Б. Свердловым — и ничего не сказано об участии в этой работе Д. С. Лихачева. Видимо, Б. Ф. Егоров был введен в заблуждение знаками копирайта.

Сам академик, как это бывало с ним очень часто, вместо того, чтобы пытаться разъехаться со своими критиками и защитниками на трудном перекрестке, помахал тем и другим из вертолета. При его жизни такие его жесты было, кому оценить, но еще нельзя было эксплицировать. А мы попытаемся. Тем более что это, на наш взгляд и приведет нас к определению роли Лихачева в истории русской культуры.

От имплицитного упрека в том, что он забросил науку, он отмахивается одним движением: его нынешние научные интересы — «поэзия садов» (действительно, очень достойная тема — своеобразная поэтика парков, — но ее не могли оценить коллеги-филологи). Самое же главное — упрек в «проповеди» — категорически отменяется: «Все мои статьи имеют не «проповедническую» цель, а являются определенными *поступками* в борьбе за сохранение культуры...» (с. 43).

О каких «поступках» тут речь? Вот это, на мой взгляд, и нуждается в экспликации, так как в интеллигентной среде эта сторона деятельности Лихачева понималась исключительно плохо, даже теми, кто случайно узнавал и сочувствовал его очередным демаршам в защиту очередных культурных объектов. Впрочем, и сам Лихачев не стремился, конечно же, раскрывать свои карты. Даже в наиболее откровенном из своих публичных выступлений на этот счет — в ответе Буланину — он, запретив считать свою деятельность проповедью, не стал объяснять, зачем же в ней было столько разговоров об «интеллигентности», «нравственности» и тому подобных вещах, практически для диалога с супостатами культурных объектов не нужных.

Интеллигенция и за ней вся аудитория выступлений Лихачева в СМИ объясняла эти разговоры так же, как и Буланин, но просто относилась к этому без раздражения. Разница была только в том, что Буланина эта «проповедь» раздражала, а тех, кто обиделся на Буланина, — нет.

Видимо, посмотрев, как реагируют на статью Буланина, Лихачев спохватился: он увидел, что его труды рискуют уйти в историю в той самой интеллигентской интерпретации («проповедь»), которая в глазах самого Лихачева перечеркивала бы их смысл. Отсюда необычная для него — и особенно неудобная, коль скоро приходилось говорить о самом себе, — резкость тона. Лихачев по-настоящему испугался оставить по себе память как о проповеднике интеллигентской веры.

Итак, он хотел, чтобы о нем помнили не только как об ученом, но и как о человеке, который совершал «поступки». А что за «поступки» — так никто и не написал. Вместо этого смерть Лихачева дала всплеск интеллигентской литературы его памяти, которую Буланин совершенно правильно трактует как агиографию.

Лично я, в отличие от Буланина, не вижу в этом большой беды. Если в мифах каких-нибудь туземцев останется смутная память о посещении их белыми путешественниками, которых они приняли за богов, то никакого ущерба цивилизациям — ни туземной, ни белых людей — это не нанесет. Просто это не избавляет нас от обязанности сохранить благодарную память и о реальном Лихачеве, а не сакральном герое интеллигентского мифа.

Лично у меня есть основания — и общественно-значимые, и личные — быть благодарным Лихачеву именно за его «поступки», «поступки» в том самом смысле слова, который ему самому было эксплицировать неудобно. Зато мне — удобно. Совсем немного, но мне удалось поработать с ним «в команде», когда мы, молодежь, организовывали первые в истории СССР уличные беспорядки, за которые потом никто не был наказан, а прикрывал нас перед Горбачевым едва ли не больше всех — именно Лихачев. Дело было в 1987 году. Это я написал не для того, чтобы встать в очередь мемуаристов о Лихачеве, а просто чтобы указать, что я представлял, каков он «в деле».

Итак, «поступки» — это такая сторона деятельности Лихачева, которая с интеллигентской точки зрения (неважно, благожелательной или нет) всегда будет маскироваться «проповедью». На какую же точку зрения нужно встать, чтобы ее разглядеть?

На такую, которую К. Н. Леонтьев назвал бы государственной:

«...ученые, исключительно кабинетные, нередко бывают наивны и сентиментальны в политике, не понимают иногда и вовсе того, что государственная, так сказать, психомеханика не может руководиться одними «моральными» соображениями и вкусами. Они часто не знают, что действия и противодействия естественной международной [а мы добавим: и не только международной, а и всякой политической] борьбы должны основываться как можно менее на личных симпатиях и увлечениях, хотя бы и целых масс... Но люди государственной службы всё это знают...» (К. Н. Леонтьев, *Письма отшельника*, III; курсив автора).

Вот Лихачев и был таким человеком, который нашел возможность оставаться «человеком государственной службы» даже тогда, когда его государство было захвачено варварами. Он не вписывался ни в один из типов русской интеллигенции, сохранявшихся при советской власти, — ни либеральной, ни националистической, — но зато очень и очень вписывался в любимый К. Н. Леонтьевым тип грека-фанариота, умевшего маневрировать между турецкой властью и чаяниями своего племени, тоже отчасти национально-консервативного, отчасти либерально-европейского, и за это умение ставшего одинаково необходимым тем и другим. Периодически возникали ситуации, когда по отношению к интеллигентам он проявлял себя не «своим». Тогда на него обижались, подчас, очень глубоко. Но в глазах большинства эти обиды некоторых всегда с лихвой перевешивались реальной помощью другим, которых всегда было больше. Эта помощь была такого свойства, что один интеллигент другому интеллигенту оказать бы ее не смог (вплоть до отмазывания от КГБ на стадии раскручивания последним дела о международной антисоциалистической организации).

Впрочем, Лихачев был, конечно, больше, чем просто типом советского «фанариота». Это был настоящий миллет-баши — глава определенной этнорелигиозной группы, ее патриарх, ответственный за нее перед султаном, но зато и имеющий статус одного из высших чиновников империи. В советской империи этот статус был неформальным, но от этого не менее высоким.

Этнорелигиозной группой, «миллетом» Лихачева была русская интеллигенция. Я намеренно отказываюсь называть ее «советской». Для меня, как и для Буланина, «совет-

ская» интеллигенция — это та же самая русская интеллигенция, только на определенном и далеко не лучшем этапе ее исторического бытия.

Об особой религиозности русской интеллигенции много пишет Буланин, и о ней еще поговорим мы. Но сейчас у нас речь о Лихачеве.

Изнутри интеллигентской среды он смотрелся как пророк: он знал все чаяния интеллигентских сердец лучше, чем они знали сами себя. Снаружи — именно как миллет-баши: серьезный *государственный человек*, который знает, как пасти вверенное ему стадо, который хорошо понимает его этнорелигиозные особенности, и который может пасти его так, чтобы оно приносило максимум пользы в общем хозяйстве империи.

2. Интеллигентность в науке: ограничения по сроку годности и побочным эффектам

Сам миллет-баши хорошо знал, кто у него паства:

«Итак — что такое интеллигенция? Как я ее вижу и понимаю? Понятие это чисто русское и содержание его преимущественно ассоциативно-эмоциональное».

Д. С. Лихачев. О русской интеллигенции.

(Письмо в редакцию [журнала «Новый мир», 1993])

В этой знаменитой и много раз цитированной-перепечатанной статье Лихачев немножко не договаривал, хотя и довольно ясно давал понять: «преимущественно ассоциативно-эмоциональное» — не только содержание понятия «интеллигенция», но и присущий интеллигенции тип мышления. Для науки, особенно гуманитарной, это не всегда фатально, но каких-то ограничений не накладывать не может.

Проблематика книги Буланина с ними связана напрямую. Буланин описывает проблемы русской интеллигенции похоже на то, как иной человек, который никогда не смотрелся в зеркало, мог бы недоумевать, почему люди иной раз шарахаются от него на улице. В принципе, и такой человек будет правильно говорить, что дело тут в том, что люди отличаются друг от друга эстетическими пристрастиями, крепостью нервной системы и так далее. Но если бы он все-таки смотрел иногда на себя в зеркало, эти выводы обрели бы конкретику.

Вот и мы посмотрим, вслед за Буланиным, на проблемы русской интеллигенции. Но постараемся все-таки посмотреть на нее со стороны и оценить прагматически, то есть, отвечая на вопрос, для чего она, русская интеллигенция, могла быть нужна в прошлом или может быть нужна в будущем.

Вполне в духе Лихачева, но с большей прямоотой Буланин описывает интеллигенцию как явление религиозное:

«Интеллигенция появилась на свет Божий, когда моральным устоям общества, точнее части общества, стало тесно в статьях катехизиса, утвержденного казенной религией. <...> Одним словом, интеллигент — это уже не священник, облеченный благодатью свыше, но еще не законодворец правового общества. Свободный от социальных конвенций он — независимый нравственный арбитр окружающего мира. Правда, до той лишь поры, пока есть среда, признающая за этим арбитром его право на моральный вердикт» (с. 13).

Это, очевидно, та же самая среда, которая признавала право на «проповедь» за Д. С. Лихачевым. Возможно, Буланину представляется, что эта среда была шире, чем интеллигенция сама по себе. Если так, то тут мы не согласны: признавать за Лихачевым авторитет миллет-баши — это совсем не то же самое, что смотреть на него изнутри вверенного его пастырскому попечению стада.

Лихачев не был миллет-баши христиан. Он был миллет-баши интеллигентов. И поэтому невозможно было бы ожидать, что понятия добродетели, на которых он основывал свой авторитет, были бы христианскими.

С христианской точки зрения, мысль о своей принадлежности к сословию «независимых нравственных арбитров [т. е., по-русски, судей] окружающего мира [вот так, не меньше!]", — мягко говоря, спорная. Христианский пастырь должен был бы не культивировать ее в своей пастве, а с ней бороться. Для христианина игра на таких чертах людей, которые он обязан считать греховными страстями, вроде гордости, — это манипуляция, и она может быть дозволена лишь в том же смысле, в котором христианам дозволено, например, убивать врагов на войне.

Если бы мы могли подозревать *человека государственной службы* Лихачева в том, что он был христианином, то мы должны были бы сделать вывод, что он рассматривал интеллигенцию как врагов своего государства. Но, конечно, это вывод абсурдный. В системе ценностей самого Лихачева, как и его паствы, христианского понимания гордости как порочной страсти не существовало. Поэтому миф об интеллигенции как о новом пророческом сословии поддерживался внутри Лихачевского миллета вполне искренне. Пастырь был, как это и положено в лучших османских традициях, одной веры со своей паствой. И такое единство миллета вносило свой добрый вклад в крепость империи.

Если бы такое положение дел продолжалось в постсоветской России, то Буланин не почувствовал бы никаких изменений к худшему, и его книга не была бы написана.

Но он почувствовал: «...в тех сумерках цивилизации, куда погрузилась Россия, для интеллигенции не осталось места. В процессе своего регресса нация перешла границу, за которой идеалы интеллигенции утратили свою силу» (с. 14).

В переводе с интеллигентского языка на государственный — империи перестал быть нужен интеллигентский миллет.

Как такое возможно? Правда ли это?

Вместе с Буланиным я думаю, что это правда. В отличие от Буланина, я думаю, что и на самом деле пришла пора интеллигенцию распушить.

Постараюсь это обосновать от слов самого Буланина. Ведь наши с ним позиции очень близки: он тоже считает, что главным делом интеллигенции была наука, от которой далее зависели образование и культура вообще, без которых ни у какой нации не может быть будущего. Поэтому, если мы поговорим о науке, то тем самым мы и сможем решить, нужна ли нам (то есть не нам с Буланиным, а России) все еще интеллигенция, или срок годности у этого продукта 200-летней выдержки, наконец, кончился.

Итак, насколько русская интеллигенция применима в науке?

Пока мы рассмотрим этот вопрос, вместе с Буланиным, теоретически, а потом поговорим конкретно о проблемах изучения древнерусской литературы и смежных дисциплин.

Теоретически Буланин формулирует так:

«Сейчас для России настало время распрощаться с вечными странницами — науками-музами. Науки процветают там и тогда, где и когда есть вера в прогресс. В обществе, где она утрачена, воцаряются суеверия, и место ученых занимают попы всех мастей, рядом с магами, чревоугодниками, экстрасенсами и другими шарлатанами, им же имя легион. Обиженные науки покидают Россию» (с. 12).

Сам будучи попом одной из мастей, я знаю поповское племя близко и поэтому хорошо понимаю, что от науки надо его отгонять поганой метлой. Поэтому свои собственные научные статьи я всегда подписываю только «В. М. Лурье» и никогда — «иеромонах Григорий». Каждый, даже если он ученый, имеет право быть попом или велосипедистом или клоуном, но в науке надо быть не попом и не клоуном, а ученым.

Хорошо тут написал Буланин. Жаль только, что он не только не написал, почему в науке также нельзя быть и интеллигентом, но и постоянно пишет обратное: без интеллигенции не будет науки.

А ведь интеллигент у Буланина, как мы уже цитировали, явление все из того же поповского ряда: «уже не священник», но что-то вроде — какой-то суррогат священника в интеллигентской религии. Если бы мы ожидали от Буланина обыкновенной логики, то мы должны были бы встретить у него подробное и ясное рассуждение, почему, несмотря на свои священнические функции, интеллигенция не относится к «попам всех мастей», а если все-таки относится, то почему попы именно интеллигентской масти для науки безвредны (или полезны?). Но нет у Буланина таких рассуждений, и дело тут не в Буланине. Дело в том, что для интеллигентного человека рассуждения на эту тему невозможны физиологически, и это объясняется особым свойством интеллигентского мышления, без которого интеллигент не будет интеллигентом.

По аналогии с уже введенным крупнейшими логиками XX века понятием «женской логики» я хотел бы назвать это свойство интеллигентского мышления «интеллигентской логикой».

«Женская логика», согласно А. Н. Колмогорову (который сам развивал мысли выдающегося математика Маркова-среднего), основана на следующем типе рассуждений:

Если $[P \Rightarrow Q]$, $[Q \text{ приятно}]$, то, следовательно, P .

«Интеллигентская логика» строится так:

Если обладание предикатом A плохо, то, следовательно, те, кто обладают предикатом A , суть не «мы» (не интеллигенция).

Или, в более формализованной записи:

Если $[A \text{ плохо}]$, $[\text{предикатом } A \text{ обладают члены множества } X \text{ (множество какой-то категории плохих или ущербных людей)}]$, то, следовательно, «мы» (интеллигенция) не являемся подмножеством X .

Или, в формульной записи:

$$\forall x \in X, \exists A(x) = \text{плохо} \Rightarrow \text{интеллигенция} \not\subset X.$$

Более точно было бы заменить в этой формуле знак «следовательно» на знак «равносильно» (и в конце этих заметок мы приведем пример из того же Буланина, когда верно будет и обратное утверждение: если кто-то не принадлежит к интеллигенции, то он обязательно обладает какими-то дурными свойствами, интеллигенции чуждыми). Поэтому окончательно получаем:

$$\forall x \in X, \exists A(x) = \text{плохо} \Leftrightarrow \text{интеллигенция} \not\subset X.$$

Назовем это **универсальной формулой логики русской интеллигенции**.

В приведенном примере из Буланина:

[«Попы всех мастей» в науке вредны], [«поповщина» под видом науки — это вредно], следовательно, «мы» (ученые-интеллигенты) в науке не являемся «попами всех мастей». Логическая ошибка — в неявной презумпции, будто «мы» в науке заведомо полезны.

Таким образом, интеллигентская логика являет собой разновидность циркулярного аргумента: «мы хорошие, потому что мы хорошие».

Не удержусь, чтобы не привести пример на любимый тезис интеллигенции, целиком подчиняющийся «интеллигентской логике»:

На знание абсолютной истины претендуют только жулики и фанатики, поскольку претендовать на ее знание — это плохо, следовательно, «мы» (интеллигенция) не претендуем на знание абсолютной истины (то есть нам свойственна свобода мышления — для себя и для других, в противоположность узости мышления фанатиков).

Здесь неявная презумпция — в том, что «мы» заведомо не являемся жуликами и фанатиками; считается, что тот, кто мыслит либерально, не претендуя на знание абсолютной истины, фанатиком не может быть по определению. Хорошо, если бы так — тогда бы мы не встречали фанатиков либеральных идей, не способных воспринимать ничьи аргументы, кроме своих собственных.

Впрочем, здесь мы имеем пример неправильного рассуждения еще и потому, что одна из посылок силлогизма — «претендовать на знание абсолютной истины — это плохо» — отнюдь не является бесспорной. Бесспорной она является только для тех, кто возводит само несуществование или непознаваемость абсолютной истины в ранг абсолютной истины.

Вернемся теперь к вопросу о границах применимости интеллигенции в науке. Если человек «уже не священник», но все еще «нравственный арбитр», да еще и не только своего прихода, но и «окружающего мира» вообще; если для этого человека характерно такое нарушение логического мышления, которое мы называли «интеллигентской логикой», а вообще-то оно является механизмом психологической защиты, который в психоанализе получил название «отрицание», — то, даже если мы будем говорить только о неклинических и непсихотических проявлениях такого стиля мышления, будут ли у нас основания заявлять о его какой-либо особой полезности для науки?

Все идеологи русской интеллигенции, не исключая Лихачева и Буланина, понимали, что наука бывала возможной и там и тогда, где и когда русской интеллигенции не было. Наука делается силами интеллектуалов, которым совершенно не обязательно быть интеллигентами. Только для России эта очевидность почему-то отрицается — впрочем, не столько Лихачевым, сколько Буланиным.

От дореволюционной России Советский Союз унаследовал научное сообщество, сформированное из интеллигенции. Это факт, на который указывает Буланин, и который невозможно оспорить. Но что происходило далее? Сводилось ли развитие советской научной среды к поддержанию, при некоторой неизбежной деградации, существования интеллигентского научного сословия, всеми силами отбивавшегося сначала от «красной профессуры», а потом от прочей лысенкоподобной советской дряни?

Ответ Буланина — «да», но я не могу с ним согласиться.

По-моему, в советское время монополия интеллигенции на науку была разбита, и едва ли не основные достижения в науке послевоенного советского периода принадлежат обыкновенным интеллектуалам — простым людям труда, хотя и, разумеется, труда умственного. Эти люди легко находили общий язык с учеными из интеллигенции, потому что сами не были амбициозны (часто даже с готовностью — может быть, чрезмерной — признавали ученых из интеллигентской среды как некую аристократию и готовы были перед ними благоговеть) и, в то же время, всегда были сосредоточены на конкретных интересах своей науки.

Из советского периода такие ученые вышли ровно тем, кем они были при советской власти, — просто учеными. В отличие от партийно-советской научной дряни, они нисколько не потеряли в научном авторитете, а, в отличие от интеллигенции, они не стали воспринимать потерю учеными социального статуса и прочих материальных благ, пусть даже и необходимых для развития науки, как некую душевную катастрофу. Психология простого трудящегося человека — будь он ученым или водопроводчиком — трудиться по своей специальности, поскольку это допускается обстоятельствами. Его собственная ра-

бота создает для него психологическую стабильность. Его мышление не нуждается в таких механизмах защиты, которые деформируют самоё мышление. Обыкновенный человек труда, будь он даже интеллектуалом и ученым, остается самим собой в очень широком диапазоне социальных условий. Он бывает хорошо адаптирован психологически и защищен от характерных для интеллигенции — в кризисные эпохи — расстройств, которые (при наступлении психотической симптоматики) бывают связаны то с бредом величия, то с тяжелой депрессией.

По иронии судьбы, один из главных героев книги Буланина является одним из лучших представителей ученых такого типа в российской науке — не интеллигенции, а просто людей труда. Это Олег Викторович Творогов. Буланин представляет его интеллигентом, постоянно подчеркивая, что вся научная деятельность Творогова была служением истине. Про служение истине — это несомненно так. Но всякое ли служение истине является интеллигентским?

Олег Викторович начал свою научную карьеру — еще только в качестве студента — очень поздно, в 25 лет. А до этого он работал сначала слесарем, а потом токарем. Воспринимал ли он свою работу слесарем и токарем как служение истине?

Если спрашивать в терминологии Буланина, то вопрос неуместен потому, что служение истине должно предполагать какую-то интеллектуальную деятельность по отысканию этой истины. Это подразумевается интеллигентской религией. Человек рабочей специальности профессионально служить интеллигентской истине не может.

Если спрашивать в терминологии самого Творогова, то вопрос будет неуместен потому, что едва ли он когда-либо считал свои труды — будь то научные или слесарно-токарные — каким-либо квазисакральным «служением истине». Он просто старался как можно лучше делать то дело, которым занимался, а само это дело выбирать в возможно более точном соответствии со своими способностями и интересами.

Если же, наконец, спрашивать в терминологии христианской аскетики, то служением истине нужно считать любой труд, исполняемый на совесть и общественно-полезный или хотя бы не вредный. Служение истине одинаково доступно ученому и водопроводчику, и именно поэтому у тех святых отцов, которые, вроде Феодора Студита, оставили много поучений о жизни в больших монастырях, где требовалось много людей разных профессий, так много говорится об одинаковой полезности труда книжника, повара, пастуха и кого угодно. Любой вид труда становится служением истине, и, с христианской точки зрения, является грубейшим заблуждением думать, будто интеллектуальный труд имеет здесь хотя бы малое преимущество. Преимущество здесь имеет только трудолюбие. Советский период вернул России тип нормального ученого-интеллектуала — обыкновенного трудящегося человека. Постсоветский период сильно ударил по сохранявшемуся с дореволюционных времен типу ученого-интеллигента. Депрессивные тона книги Буланина — это яркая симптоматика нынешнего болезненного состояния интеллигентской научной среды. Нет уверенности, что это депрессия реактивная — реакция на тяжелые обстоятельства, которая исчезнет, как только исчезнут сами обстоятельства. Возможно, тяжелые обстоятельства исчезнут, а депрессия останется, как это бывает при развитии психических патологий, и еще вопрос, насколько она будет излечима. Не буду делать прогнозов, но вполне возможно, что ученых-интеллигентов в России скоро не останется, так как основная часть этого контингента потеряет трудоспособность в науке. Но, как бы то ни было, не наличием или отсутствием подобных ученых будет определяться будущее российской науки.

Никакого «регресса нации», как пишет Буланин, за этим нет. Для нации это, скорее, признак выздоровления. То, что было декларировано, но не было исполнено большевиками, похоже, будет исполнено сейчас: исправить возникшую в русской культуре XIX века очевидную несправедливость и уравнять по статусу в общественном сознании все виды труда — интеллектуального и физического.

3. Древнерусская литература как жертва интеллигенции

Буланин пишет, что наука у нас в упадке, а я и тут собираюсь с ним поспорить. Как же спорить, когда она и на самом деле в упадке?

Упадок упадку рознь. Любой период резкой перестройки организма тоже воспринимается, как болезнь. Вопрос в том, что сейчас происходит в нашей науке — просто ее распад, как думают Буланин и многие другие, или перестройка?

Точный ответ на этот вопрос даст только опытная гадалка. Поэтому он нам и не нужен. Практический смысл имеет ответ лишь на один вопрос: что можно сделать, чтобы нынешний кризис российской науки обернулся не распадом, а перестройкой? — Надо постараться сделать, что можно, а потом те, кто доживут, посмотрят, что будет.

Буланин так даже не ставит вопроса, а зря.

Когда рушится что-то хорошее, можно утешаться фактом невозможности совершенства: ведь вместе с хорошим рушится и то плохое, что в нем неизбежно должно было быть. Иногда получается, что плохого в хорошем так много, что поступательное развитие хорошего блокируется; легче сломать и сделать заново, хотя и используя обломки в качестве строительных материалов. Но самому ломать — рука не поднимется. Поэтому бывает польза и от катастроф.

Традиции изучения древнерусской литературы таковы, что — на мой взгляд человека, чья научная специализация состоит в изучении Христианского Востока как единого культурного целого, — благотворность именно катастрофического, а не эволюционного пути развития для них более чем вероятна.

Древнерусская литература почти во всем мире изучалась либо в фарватере Сектора древнерусской литературы Пушкинского Дома, либо как-то совсем уже на уровне того, что пытались в советские годы выдавать за науку коллеги «лихачевцев» в Москве. Кое-где на свете бывали и исключения, но они погоды не делали и все равно находились под сильным влиянием Сектора. Буланин совершенно правильно пишет: «Пускай не подумает кто-то, что я идеализирую западную славистику. Напротив, если уже она пришла в упадок в метрополии (а метрополией в данном случае является славянский мир), то в провинции, даже западной, она не может процветать. Примеров — множество» (с. 193, прим. 22).

Авторитет Сектора стоял не только на том, что огромная часть сохранившихся в мире славянских рукописей и старопечатных книг хранится в Петербурге. В конце концов, немало их хранится и в Москве. Дело было, разумеется, в том, что только в Петербурге удалось сохранить — непрерывно в течение всех советских лет — преемственность с дореволюционной школой славистики. А дореволюционная русская славистика была, естественно, самой лучшей.

От всего дореволюционного, что сохранилось при советской власти, отвалились какие-то куски. Тому были естественные (цензурные) и противоестественные причины. Последние были связаны со структурой самого научного сообщества. По временам причины того и другого типа воздействовали резонансно — и тогда уже совсем сокрушительно.

Не будем спрашивать, почему при советской власти из поля зрения специалистов по древнерусской книжности почти полностью выпали агиография, гомилетика и литургика. Лучше скажем спасибо и за те крохи, которые все-таки перепали даже тогда, причем, далеко не в последнюю очередь, благодаря Сектору.

Не будем удивляться и тому, что не получили развития такие тенденции, необходимость которых успела обозначиться еще до революции: например, необходимость для русиста-древника знакомства со скандинавской литературой того же времени и древнеисландским языком. Если и до революции со всяким «норманнизмом» в российской науке было туго, то после — и подавно; историками советской науки об этом уже немало напи-

сано. Но все-таки оценить абсурдность такого положения не мешает: русские летописи и скандинавские саги и скальдическая поэзия постоянно пересекаются, но русисты их игнорируют. Можно сказать, что и скандинавские ученые, за редчайшими исключениями, отвечают им взаимностью, но чужой провинциализм в науке не должен служить оправданием для собственного. Только в последние годы стали заметны в российской науке противоположные тенденции, но о введении образовательного минимума в области скандинавистики (литературы, истории и языка) для русистов-древников речь не идет совершенно.

Некоторые «куски» от дореволюционной традиции откалывались уже в последние десятилетия советской власти — просто вследствие неудач (для кого-то, может быть, и удач, но неудач для науки) в каких-то аппаратных играх. Советская власть была виновата в этом лишь косвенно — тем, что создала такой сложный для этих игр ландшафт.

Так, лишь с начала 1960-х годов «древнерусская литература» разделилась официально на «древнерусскую» и «древнеукраинскую» (в Белоруссии она же называлась «древне-белорусской», но это название так и осталось региональным: авторитетной научной школы в Белоруссии не сложилось, несмотря на наличие нескольких ярких имен). В 1950-е годы древнерусская литература XVI—XVII веков все еще сохраняла свое единство. Именно в Ленинграде работал И. П. Еремин (1904—1963), оставивший нам классическое издание одного из самых важных «древнеукраинских» авторов — Ивана Вышенского (1955). Преждевременная смерть Еремина была следствием всяких «разборок», которые устроили ему в 1958 году на филфаке ЛГУ. Побочным результатом выведения из строя Еремина стало упразднение в Ленинграде (а значит, и вообще в России) западно-русских штудий. Эти штудии продолжались на Украине, но далеко не на уровне Еремина.

Впоследствии к концепции древнерусской литературы как литературы, собственно, «древнемосковской» привыкли настолько, что западно-русских авторов и произведения не стали включать в «Словарь книжников и книжности Древней Руси» (начал выходить под редакцией Д. С. Лихачева в 1987, но статьи для первых томов писались еще в 1970-е годы). Незнание западно-русской литературы, в свою очередь, сказывалось на исследованиях по любимой теме Сектора и связанных с ним научных центров (Новосибирск, Иркутск) — ранней истории старообрядчества (основополагающие для идеологии раннего старообрядчества «Кириллова книга» и «Книга о вере» почти целиком состояли из западно-русских материалов, только лишь обработанных в Москве). Иван Федоров, бежавший из Москвы во Львов и Острог, стал представляться в такой ретроспективе чем-то вроде двуязычного писателя-эмигранта Набокова: деятеля двух культур сразу. Наверное, он бы удивился, если б узнал.

Если так плохо пошли дела даже с западно-русской литературой, то чего уж можно было ожидать от южнославянской. Кажется, в советские годы был только один ученый, стоявший вне всяких школ, — А. А. Турилов в Москве — который реально представлял себе весь репертуар славянской письменности как единое целое, связанное общностью литературного языка.

Церковнославянский язык функционировал так же, как сирийский и арабский (и согдийский, памятники письменности на котором сохранились лишь очень фрагментарно): это была *lingua franca* для большого культурного региона, а не язык одной из национальных культур. Особое значение древнерусской культуры среди прочих славянских оказалось, в частности, в том, что почти все произведения древнеславянской литературы сохранились, в основном, в рукописях Древней Руси. Отсюда постоянная проблема: отличить произведение собственно древнерусское от южнославянского, но сохранившегося только в древнерусских рукописях. В Секторе был другой подход: произведения часто «назначали» древнерусскими автоматически, вслед за атрибуцией рукописей, в которых они дошли. Поэтому какое-нибудь «Сказание о двенадцати снах Шахаиши» фигурирует в «Словаре книжников и книжности Древней Руси» как древнерусское произведение (хотя его «древнерусскость» не доказывается ровно ничем), а, повторим, Иван Вышенский или Иов Почаевский — «русскими» не являются.

Советская система обучения русистов-древников приводила к разнообразным последствиям. Иногда они носили характер курьезов: например, неспособность издателей и переводчиков древнерусских текстов опознавать библейские цитаты, даже из псалмов, что приводило подчас к разным нелепостям в комментариях. Этого не избежал даже сам Д. С. Лихачев.

Но были вещи и поважнее. Так, стало общепринятым заниматься древнерусской литературой, совсем не зная греческого языка (не говоря уже об истории византийской книжности и Византии как таковой). До революции знание греческого языка давала уже гимназия, но и университетское образование без греческого не обходилось. Если учесть, что большинство памятников древнерусской литературы суть переводные (с греческого!) произведения, то это обстоятельство нельзя не признать фатальным. Впрочем, на греческий язык был не такой уж большой спрос, как того следовало бы ожидать: преимущественным вниманием стали пользоваться оригинальные древнерусские произведения, и причиной этого стал как раз таки резонанс цензурных ограничений с собственными пристрастиями ученых.

Вот об этом и стоит поговорить. Здесь мы вновь сталкиваемся с темой интеллигенции.

Какое у нас в древнерусской литературе произведение является самым главным? Какое произведение могло стать тем единственным, в честь которого выпущена особая научная энциклопедия (под редакцией Д. С. Лихачева)? — Если бы этот вопрос был обращен к гипотетическому человеку, знакомому с составом древнерусской письменности и понимающему, как вообще устроены средневековые литературы христианских народов, то, вероятно, в ответ нам назвали бы «Повесть временных лет». Если бы такой гипотетический человек считал особо важной церковную составляющую древнерусской письменности, то, вероятно, он назвал бы «Киево-Печерский патерик».

Но мы — не гипотетические, а реальные — прекрасно понимаем, что в жизни ответ на этот вопрос другой, причем, совершенно неочевидный: «Слово о полку Игореве».

Неочевидность этого ответа в том, что сами древнерусские книжники, за небольшим исключением, не знали о существовании этого «самого главного» произведения своей книжности.

Древнерусская литература совсем не была похожа на древнегрузинскую, в которой существовала высокая светская поэзия, в обязательном порядке известная любому образованному человеку. В этом смысле «Слово о полку Игореве» — никак не «Витязь в тигровой шкуре».

Светская поэзия, являющаяся, в то же время, высокой литературой, а не фольклором — это и вообще исключение в истории восточнохристианских литератур. Она была по-настоящему характерна только для Византии, на которую воздействовало ее античное наследство, и Грузии, а также, в меньшей степени, Армении, на которые воздействовала Персия с ее великой традицией светской поэзии на фарси (многочисленные персидские заимствования в древнегрузинском пришли, в основном, через поэзию). Только в Эфиопии выработались пограничные жанры между светской и литургической поэзией, но и они оставались в ведении духовенства. На других языках Христианского Востока значительной традиции светской поэзии не было: ни на сирийском, ни на коптском, ни на арабском, ни на славянском (это не говоря о тех языках, на которых сохранился относительно небольшой корпус средневековых христианских текстов: нубийском, согдийском, уйгурском, китайском, среднеперсидском). Также и в иудейском дохристианском мире, по-видимому, не было традиции светской книжной поэзии — ни на еврейском, ни на арамейском языках.

Таким образом, чрезвычайная редкость самого жанра «Слова о полку Игореве» обеспечивает к нему особенный интерес. Для славянских литератур это явление уникальное. Но это интерес такого свойства, который должен был бы отодвинуть «Слово о полку

Игоре́ве» в какую-то особую резервацию (пускай сколь угодно обширную), но на обочине основных исследований по древнерусской литературе. Произошло, как известно, с точностью до наоборот.

Почему?

Свою роль сыграли идеологические ограничения и заказы со стороны советской власти, но все же Лихачевский культ «Слова о полку Игореве» был Лихачевым только раздут, а создан он был еще в XIX веке, когда сложился и тот подход к изучению древнерусской литературы, который затем культивировался Сектором. Буланин очень точно назвал его «романтическим» и указал на С. П. Шевырева (его «Историю русской словесности», 1846—1860) как на основоположника такого подхода (с. 87—90). Суть этого подхода в том, что древнерусская литература анализируется по таким же критериям, как русская литература классического периода. При этом забывается, что для средневекового книжника понятия «литературы» в современном значении этого слова не существовало, и «памятники древнерусской литературы искусственно отделяются от письменного наследия других православных славян». Как справедливо замечает Буланин, «это далеко не лучшее, что осталось от деятельности Сектора древнерусской литературы за годы его расцвета» (с. 87).

Фанатичный интерес историков древнерусской литературы к «Слову о полку Игореве» — это просто символическое и почти ритуальное выражение того подхода, который Буланин справедливо называет романтическим (поскольку он был порожден эпохой романтизма, с его культом индивидуальности и тому подобными прелестями), а мы с не меньшим основанием назовем интеллигентским.

В том самом знаменитом письме «О русской интеллигенции», которое мы тут уже цитировали, Д. С. Лихачев писал: «Но высокой русской интеллигенции нового времени в древней Руси еще не было».

Действительно, не было. Этим и объясняется, почему интеллигенция больше всего в древнерусской литературе полюбила то, что в ней было наиболее маргинальным. А уже самой интеллигентностью интеллигенции объясняется то, что и заниматься ей было интереснее всего именно тем, что она лучше понимала и любила. Интеллигенции плохо прививался дух обычного научного интеллектуализма, преобладающего в филологических штудиях по литературам Христианского Востока, когда, например, филологи издают тексты сложнейших богословских трактатов, едва представляя себе, хотя бы на какую тему там речь. Такая «чистая наука» и «филология для филологии» была бы для интеллигенции слишком «чистой».

В этом смысле огромный контраст представляло собой в СССР изучение литератур древнерусской и древнегрузинской. Древнегрузинская изучалась по лучшим мировым стандартам христианского востоковедения, заданным учениками Н. Я. Марра Корнелием Кекелидзе (1879—1962) и Акакием Шанидзе (1887—1987). Никто и не думал обижать вниманием Шоту Руставели, но основное внимание уделяли памятникам агиографии, гомилики и литургики, в значительной своей части, переводным.

Изучение древнерусской литературы строилось по совсем другим стандартам, выработанным на заре русской филологической науки. Диспропорциональность внимания, уделяемого памятникам разных жанров, доходила до гротеска, так как фигура русского Шоты Руставели, анонимного автора «Слова о полку Игореве», была и вовсе навязанной древнерусской литературе задним числом.

В изучении древнерусской литературы, если сравнивать ее с изучением «параллельных» восточнохристианских литератур, отчетливо обозначился провинциализм и застой.

И вот теперь эта традиция разрушается. Буланин вздыхает о том, что теперь не останется ничего вообще. А вот я думаю иначе.

Для серьезных успехов в изучении древнерусской литературы нужен серьезный прорыв. Для этого необходимо, согласно французской поговорке, *reculer pour mieux sauter* — «отбежать, чтобы дальше прыгнуть».

Поэтому, вздохнув вместе с Буланиным о том, что у нас не появляется сейчас критических изданий древнерусских памятников, я вспомню о том, что зато появляется какой-нибудь Андрей Виноградов с критическими изданиями византийских текстов на греческом или Андрей Слуцкий с изданиями и исследованиями сохранившихся в славянских рукописях (не только русских, а всех) памятников византийского богослужения. Или о том, что Олег Викторович Творогов и его бывшая аспирантка Ирина Грицевская создают потихоньку славянскую часть *Clavis Patrum Graecorum* (то есть инвентаризируют произведения греческой патристики, сохранившиеся на славянском языке). Или о том, что молодежь теперь сплошь и рядом учит греческий язык, а часто посягает также и на какие-нибудь сирийский и коптский...

Сейчас важнее для российской науки освоить те пространства, откуда ее изгнала советская власть. Да, для изучения древнерусской литературы это обернется некоторым застоем. Но мы бы предпочли назвать его не застоем, а рабочей паузой. Нужно слегка подождать, чтобы сформировалась такая научная среда, в которой изучение древнерусской литературы займет свое законное место, — место одной из целого букета литератур Христианского Востока. Не меньше, но и не больше.

4. Научное книгоиздание в цифровую эпоху

Теперь было бы самое время поговорить о проблемах книгоиздания и книжного рынка, но тут мы, в отличие от Буланина, проявим осторожность и ограничимся только несколькими замечаниями.

Опыт издательства «Дмитрий Буланин» — это очень много и интересно, но автор плохо осознает, насколько этот опыт принадлежит прошлому, и насколько мало он пригоден для прогнозирования будущего. Рассуждения Буланина на темы книжного рынка напоминают рассуждения о проблемах работы скрипториев в ту эпоху, когда книгопечатание уже изобретено, но рассуждающий еще не знает об этом.

В общих чертах ситуация выглядит так. В компьютере у современного российского молодого ученого (тут я буду говорить только о серьезных ученых, которые серьезно работают и с библиографией), а также на всяких «си-ди» и «ди-ви-ди» — библиотека в сотни, а то и тысячи томов, сопоставимая по объему с подсобным фондом отдела рукописей РНБ, но только гораздо более актуальная лично для него и гораздо более современная. Плюс очень много легко доступной (бесплатно) информации в Интернете — особенно библиографической, но много и полнотекстовых версий. Плюс возможности пользоваться платными сетевыми библиотеками (русские ученые не очень способны сами за себя заплатить, но зато у них всё хорошо со способностями найти того, кто это сделает за них). Плюс — это, пожалуй, особенно важно — исключительная легкость копирования больших объемов книг при помощи цифровой фотографии.

Теперь можно сказать с уверенностью: никакого отставания российской науки по причине плохого комплектования библиотек не будет. Если даже в советское время и в 90-е годы плохое комплектование кое-где компенсировалось хорошей работой международного межбиблиотечного абонементов, то сейчас легкость копирования на электронные носители позволяет полностью забыть наши опасения относительно библиотечных лакун. Наоборот: наша бедность деньгами и книгами уже привела к особому русскому стилю копирования на электронные носители — «бессмысленному и беспощадному». Впрочем, я тоже скажу пока что, что кашу маслом не испортишь.

Ничего этого Буланин в пору своей интенсивной работы в науке увидеть не успел и теперь едва ли понимает масштабы хотя бы только уже свершившихся перемен. А пере-

мены, меж тем, пока и не думают останавливаться, и каждый год приносит огромное расширение поля книжной информации, доступной на электронных носителях.

Очевидно, что назревают крупные пересмотры базовых параметров международного законодательства, связанного с интеллектуальной собственностью и копирайтами. Существующие методы защиты того и другого стали почти совершенно неадекватными, и не видно им никаких альтернатив, кроме одной: пересмотреть сами понятия законного и незаконного. Собственность на издательские права стремительно приближается по абсурдности к собственности на воздух.

Тут не только Буланин не может предвидеть последствий. Так, в середине 1990-х знаменитая серия *Sources chrétiennes* стала издаваться на специальной бумаге, разрушающейся при ксерокопировании. Едва ли ксерокопированием успели разрушить хотя бы один экземпляр книг этой серии, как цифровая фотография заставила издателей оставить свои изыски и вернуться к обыкновенной бумаге.

Проблема донесения информации до читателей, о которой Буланин пишет и вздыхает очень много, теперь также решается очень просто, в один прием: выложить в Интернет. Для российской провинции именно это средство оптимально. Уже существуют большие сетевые библиотеки, созданные в российских столицах специально для российских регионов и для наших соотечественников за рубежом.

Поэтому основная проблема теперь вовсе не в том, чтобы донести научную литературу до заинтересованного читателя, а в том, чтобы сделать ее производство рентабельным. Ведь наши российские сетевые научные библиотеки — только бесплатные, и никакими другими они не могут быть по определению.

Поэтому покупательная способность рынка расти не будет. Хорошо, если она не будет падать — а падать она не будет до тех пор, пока, как справедливо замечает Буланин, российские цены на научные книги будут оставаться низкими.

Что тут можно сказать? Ориентация на параллельный выпуск сетевых версий печатных книг позволяет сильно сэкономить на тиражах. Вероятно, следует подумать о другой издательской политике, когда бумажные версии научных изданий выпускаются в очень небольшом количестве и стоят очень дорого — но распространяются только по библиотекам, так как предназначены не столько для читателей-ученых, сколько «для истории», для всяких представительских функций и для тех чудаков, которые готовы заплатить большие деньги за сувенир. А для абсолютного большинства читателей — полнотекстовые сетевые версии. Автор этих строк имеет близкое отношение к одному из выходящих таким образом международных журналов — *Византинороссике* (<http://byzantinorossica.org.ru/publications.html>).

Для издательства, которое вынуждено *зарабатывать* выпуском научной литературы, всё это сложно. Теоретическая возможность сделать такой журнал окупаемым за счет западных научных библиотек все равно нереальна для российской экономики, так как в России одной окупаемости для издательского бизнеса мало: имеет смысл только лишь *быстрая* окупаемость (причины подробно изложены у Буланина).

Но сейчас значительная часть нашего научного книгоиздания осуществляется без всякой рентабельности — просто расходом спонсорских денег, полученных или непосредственно на издание книг, или на какую-то деятельность в области науки и образования, в которую включается и книгоиздание. И у такого книгоиздания в нашей стране перспективы есть. (Понимаю, что для издательства «Дмитрий Буланин» в этом утешительного мало, но для российской науки это все-таки хорошо.)

Поэтому, разделяя вместе с Буланиным его скорбь по научному книгоизданию как бизнесу, я совсем не становлюсь пессимистом в отношении научного книгоиздания как такового.

Издательство «Дмитрий Буланин» хорошо потрудились в конце «эпохи скрипториев». Войдет ли оно теперь в «эпоху книгопечатания»?

5. «Этичность» научного знания как его коррозия

Тема книг и книжного рынка возвращает нас к главной теме книги Буланина и этих наших заметок — к интеллигентскому пониманию науки. К тому, чего мы, по всей видимости, скоро лишимся окончательно, и по поводу чего Буланин вздыхает сокрушенно, а я с надеждой.

Иногда мы с Буланиным говорим совершенно в унисон:

«Тех, кто теперь приходит в науку, уже нельзя назвать интеллигентами. И это совсем не потому, что они хуже или глупее прежних ученых. Просто-напросто с началом реформ сам феномен русской интеллигенции уходит из жизни» (с. 116).

Прочитаешь такое — и думаешь: а Буланин ли это? Может, это я сам написал? Ведь это, вроде бы, моя мысль, а не Буланина, — что интеллектуальный уровень тех, кто приходит в науку, вовсе не опускается, и причин для паники нет, а пафос книги Буланина (в других отношениях чрезвычайно интересной) — ложный.

Но нет, это Буланин. Просто нельзя забывать об «интеллигентской логике», формулу которой мы вывели выше. В данном случае действует вот эта ее часть:

$$\text{интеллигенция} \not\subset X \Rightarrow \forall x \in X, \exists A(x) = \text{плохо}.$$

Подставляя в нее те значения переменных, которые упомянуты в данной фразе, мы должны будем заключить, что, коль скоро нынешние ученые — это не «мы», не интеллигенция, то они должны принадлежать к множеству X , объединяющих индивидуумов заведомо худшего качества. Поэтому новопришедших в науку ученых «нельзя назвать интеллигентами», может быть, и «не потому, что они хуже», — но, тем не менее, они все-таки «хуже», как бы там их ни называли.

Да и как им не быть «хуже»? Если бы все обстояло так хорошо, как можно было бы подумать из той цитаты, когда она вырвана из контекста, — то не было бы контекста, то есть самой книги Буланина.

Но тем ценнее наблюдение Буланина, которое следует сразу за нашей цитатой. Мы опять с ним полностью согласимся: «Присущее прежней интеллигенции представление об этичности знания зиждилось на уверенности в абсолютном значении этого знания, в котором реализуются бесконечные возможности человека. В культуре, которая пришла на смену, любое знание имеет лишь прикладное (относительное) значение, так что вопрос о его этичности становится неактуальным» (с. 117—118).

Действительно, разница в этом.

Вызывая к себе водопроводчика, мы будем ожидать от него только такой этичности, которая будет проявляться в качественном исполнении его работы в обмен на оплату труда по разумным расценкам. Обращаясь к труду специалиста по древнерусской литературе, мы тоже могли бы ожидать, — в порядке профессиональной этики, — что он, как минимум, выдаст нам качественный продукт своего труда (научное издание текста, исследование...) в обмен на те деньги, которые мы потратим на его книгу, или на те деньги, которые мы платим в качестве налогов в госбюджет, откуда финансируется деятельность научных учреждений и библиотек. Не буду, для простоты рассуждения, говорить о том, что хороший ученый готов поделиться научной информацией и «просто так, то есть даром».

Если водопроводчик или специалист по древнерусской литературе окажется интеллигентом, то мы так дешево не отделаемся. Он потребует от нас признать «абсолютное значение» его профессионального знания, а на основании этого — и некую особую «этичность» знания самого по себе, которая уже не будет определяться просто-напросто качеством сделанной работы. С качеством сделанной работы, если она вообще будет сделана, возникнут проблемы.

До революции, впрочем, еще были в силе международные стандарты научного сообщества, а они не позволяли заменять квазирелигиозной «этичностью» недостаток профессионализма. Дореволюционная «этичность» была просто неизбежной «нагрузкой» при общении с русской научной интеллигенцией, которую можно было терпеть так же, как мы стали бы терпеть нервное подергивание мускулатуры лица у интересного для нас собеседника.

При советской власти вместе с провинциализацией в СССР многих областей научной деятельности пришло и сначала отставание от уходивших вперед международных научных стандартов, а потом и частичное забвение этих стандартов даже в их дореволюционных редакциях. Это неизбежно вело к повышению роли «этичности» науки по отношению к банальному профессионализму.

Может быть, я и не стал бы говорить об этом так прямо, но Буланин не дает пройти мимо. Он, а не я заговорил об итоговой работе Сектора древнерусской литературы эпохи Лихачева — о монументальном замысле «Библиотеки литературы Древней Руси»:

«Лишенные точки отсчета (книги для узких специалистов), невостребованными становятся и научно-популярные издания в прежнем смысле слова. Например, двадцатитомная «Библиотека литературы Древней Руси», которая, по первоначальному замыслу, адресовалась широкому кругу читателей, оказалась ему не нужна, о чем недвусмысленно свидетельствует мизерный тираж серии. (Нелепость заключается в том, что именно для массового читателя древние тексты переводятся в Библиотеке на современный язык, в два раза увеличивая ее объем; специалист, оказавшийся на деле единственным читателем серии, не нуждается в этих переводах.)» (с. 82).

К сожалению, *всерьез* эта «Библиотека» оказалась не нужна никому — профессиональному читателю еще менее, чем «широкому». Но Буланин винит в этом кого-то, кто не позволял наладить выпуск «книг для узких специалистов». Кто же этот таинственный «кто-то»? Если почитать Буланина, то можно подумать, что это проклятая капиталистическая экономика. Но капиталистической экономике совершенно безразлично, издавать ли научно-популярную, но мало кому нужную «Библиотеку», или же научные книги, которые, между прочим, можно было бы хотя бы продавать за немалые деньги западным библиотекам (а вот наши научно-популярные издания туда и даром не возьмут).

Нет. Тут все-таки не надо торопиться винить экономику, а хорошо бы задуматься о том, что не все может быть ладно в нашем Датском королевстве.

Начатая изданием в 2000 году «Библиотека литературы Древней Руси» и особенно ее предшественница — 12-томная серия «Памятники литературы Древней Руси» (1981—1994), — несомненно, хороши тем, что позволяют любому желающему получить общее представление о многих памятниках древнерусской (или предположительно древнерусской) письменности. Эти издания, в отличие от всех прочих, были и остаются доступными не только для читателей хороших научных библиотек, но и для посетителей книжных магазинов, даже и не очень хороших. Серия «Памятников» имела, кроме того, особое значение в условиях советского цензурного гнета.

Все это хорошо — но до тех пор, пока мы не вспоминаем, что все это создавалось в качестве коллективного труда ведущего в своей области научного учреждения. Как только мы об этом вспоминаем, картина резко меняет масштабы: гора родила мышь.

Для сравнения: существовавшая в том же Пушкинском Доме маленькая группа Достоевского издала популярный 15-томник Достоевского, равно как и несколько отдельных изданий его романов, не ранее, чем закончила работу над академическим полным собранием сочинений в 30 томах (1972—1990; но работа началась еще в 1960-е годы), из комментариев к которому выросло еще и самостоятельное продолжающееся издание «Достоевский. Материалы и исследования». В этой группе работали несколько человек во главе с простым советским академиком Г. М. Фридендером (1915—1995); впрочем, звание ака-

демика Фридлендер получил только в 1990 году и именно за его международно признанного Достоевского.

Если бы Сектор древнерусской литературы работал по таким же стандартам, то основным выходом от его работы была бы серия, подобная тому, чем в наше время является *Sources chrétiennes*, а в XIX веке была *Патрология* Миня: такое издание полного корпуса памятников древнерусской литературы, обращаясь к которому, мы могли бы быть уверены, что перед нами — синтез всего, что может сказать о данном памятнике современная наука. Опыт *Sources chrétiennes* показывает, между прочим, что такая задача не столь уж не совместима с задачами популяризации. На основе такой серии можно было бы издавать и другую серию, рассчитанную только на «широкого» читателя.

Едва ли подобному замыслу могла препятствовать советская власть, разрешившая, в конце концов, даже популярную серию, и не имевшая ничего против издававшейся Пушкинским Домом серии монографий сотрудников Сектора, обычно посвященных критическому изданию одного памятника. Эта серия монографий была делом очень хорошим, но, к сожалению, она пополнялась исключительно за счет кандидатских и докторских диссертаций, тогда как повседневная работа Сектора в 1980-е годы переключилась на популярные издания с комментариями уровня «Маша ела кашу».

Попыткой Сектора как-то зафиксировать общий (международный) уровень изучения древнерусской литературы стал только «Словарь книжников и книжности Древней Руси», но мы уже писали выше о его странных принципах выделения самого феномена «древнерусской» литературы и могли бы еще больше написать о несвежести и неполноте тамошних библиографических сведений (впрочем, в отношении XVII века недостатки этого типа становятся минимальными). Так, в качестве справочника по древнерусской литературе домонгольского периода (и не только богословской, а всей вообще) я бы порекомендовал пользоваться отнюдь не «Словарем», а русским (очень сильно исправленным и дополненным) изданием Г. Подскальского, «Христианство и богословская литература в Киевской Руси. 988—1237» (СПб., 1996; *Subsidia byzantinorossica*, 1), подготовленным А. Н. Назаренко и К. К. Акентьевым. (Полнотекстовая онлайн версия:

http://byzantinorossica.org.ru/ser_sbr_v1.html).

Повседневная собственно научная деятельность Сектора — то есть такая деятельность, которая не исчерпывалась кандидатскими и докторскими диссертациями, — оказалась лучше всего представленной в ТОДРЛ — издающихся с 1931 года «Трудах Отдела древнерусской литературы» (после переименования «отдела» древнерусской литературы в «сектор» «Труды» не меняли названия, чтобы не расставаться со старой аббревиатурой). В послевоенное время это издание удалось сделать почти ежегодником. Оно всегда было более значительным, чем обещало его название, — далеко не только печатным органом одной научной организации, а ведущим изданием в своей области. Насколько это было возможно в советское время, оно было даже международным (при советской власти было невозможно — по цензурным соображениям, связанным с охраной «железного занавеса», — издание международного научного журнала на многих языках сразу, как это принято во всем мире; издание должно было обязательно быть позиционированным как орган *советской* науки). С 1993 года издание ТОДРЛ перешло от дышавшего тогда на ладан издательства «Наука» к издательству «Дмитрий Буланин», где с тех пор вышло его 11 томов (тт. 46—56, т. 57 готовится). Почему Буланин на протяжении всей своей книги *ни разу* не упоминает ТОДРЛ — это одна из психологических загадок.

В течение советского времени ТОДРЛ был одним из нескольких советских продолжающихся изданий в области гуманитарных наук, которые по-настоящему котировались в международном масштабе. Отчасти это обеспечивалось нередкой для других областей народного хозяйства СССР «сырьевой экономикой»: в ТОДРЛ постоянно публиковались по рукописям небольшие тексты, а также давались описания рукописных собраний и сведения о рукописях. Если в научном журнале хотя бы небольшая, но постоянная часть мате-

риалов относится к текстам и рукописям, интерес международного сообщества к нему будет обеспечен. Но ТОДРЛ советской поры вызывали уважение также и публиковавшимися там исследованиями. В большинстве случаев их темы были довольно тесно связаны с темами будущих научных монографий, посвященных отдельным памятникам древнерусской литературы. Это, с одной стороны, ограничивало тематический охват ТОДРЛ, но, с другой стороны, обеспечивало публиковавшимся там исследованиям основательность. С точки зрения международного авторитета журнала, это себя оправдывало: вас никто не будет ругать за то, о чем вы не пишете вовсе (не говоря о том, что коллеги-слависты, как правило, неплохо представляли себе ситуацию со свободой выбора тематики научных исследований в СССР), но зато будут весьма придирчиво судить о том, о чем вы все-таки решаетесь написать.

Что изменилось в ТОДРЛ «Буланинской» эпохи? То есть той эпохи, когда упали советские ограничения на свободу научных исследований и научных публикаций?

Ведущего международного журнала по славянским литературам — такого, какой можно было бы вообразить, если бы советская власть пала в 1931 году, в год основания ТОДРЛ, — не получилось даже близко, да и задача такая не ставится. Немногие иностранные авторы теперь иногда печатаются на своих иностранных языках, но «Труды», пожалуй, именно в постсоветскую эпоху гораздо более, чем в 1960-е годы, стали Трудом именно одного отдельно взятого сектора древнерусской литературы и сообщества его настоящих и бывших аспирантов и докторантов. Конечно, и такое издание может быть очень полезным, но преодолевать провинциализм собственной научной традиции это не помогает.

И, разумеется, на ТОДРЛ неизбежно сказываются те процессы разрушения советских научных традиций, о которых так много пишет Буланин. То, чем успешно занимались при советской власти, продолжают делать, но уже не столь успешно, а то, чем тогда заниматься было нельзя, теперь иногда начинают — но так, что лучше бы это делать где-нибудь не в ТОДРЛ.

Не имея возможности входить сейчас в научные дискуссии, а также не желая допускать никакой критики без позитивной программы, я только попытаюсь предложить следующее. В своей собственной среде актуальные и потенциальные авторы ТОДРЛ всегда понимают, какие исследования в запрещенных при советской власти областях предпринимаются из чистого или относительно чистого научного интереса, а какие — конъюнктурные (только ради сшибания грантов и позиционирования себя перед властью и/или деньгами имущими). Поставить барьер против проникновения в ТОДРЛ материалов последнего типа — не в силах редколлегии. Это придется терпеть как современный аналог неизбежного при советской власти надругательства марксизмом-ленинизмом над любым научным изданием. Но можно дистанцироваться от таких публикаций и их авторов, создавая в ТОДРЛ такой стиль, чтобы нормальные научные исследования не смешивались с конъюнктурными, как вода и масло. При советской власти так умели обходиться с профессиональными марксистами и их обязательными к публикации творениями. А вот для начинающих авторов, которые просто не успели приобрести научную «форму», хорошо бы выпускать побольше всяких «материалов конференций», тогда как для ТОДРЛ уровень отбора слегка повысить. Технически это возможно — при желании (см. выше о книгоиздании в цифровую эпоху). Впрочем, по-настоящему эффективными все эти меры станут тогда, когда у редколлегии ТОДРЛ возникнет желание превратить свое детище в ведущий международный журнал по всем средневековым славянским литературам сразу.

Но, что бы мы тут ни говорили о ТОДРЛ, даже о ТОДРЛ времен расцвета, — это издание никогда не ставило, да и не должно было ставить себе целью давать целостную картину современного состояния всей науки о древнерусской литературе. Задача полного и научного (а не научно-популярного) издания корпуса древнерусских текстов не только не была выполнена, но даже не была поставлена.

Итак, ведущее научное учреждение мира, издающее в качестве основного результата своей деятельности по изучению всего корпуса древнерусской литературы какие-то научно-популярные серии, — это несерьезно. Это означает, что данное учреждение «не держит планку», и что, как бы ни относиться к каждому в отдельности из его сотрудников, учреждение в целом нужно рассматривать как единицу административную, но отнюдь не научную. Это и является иллюстрацией нашего тезиса о том, что нынешнее замедление научных штудий в фарватере Сектора — скорее хорошо, нежели плохо.

Но почему даже научно-популярные издания Сектора не торопятся покупать даже «широкий» читатель?

Для «широкого» читателя продукт на рынке должен быть правильно позиционирован. Произведение древнерусской литературы вызовет к себе «широкий» интерес только тогда, когда будет понятно, зачем оно нужно, помимо «литературы» — «литературы» в том самом смысле слова, который Буланин определил как «романтический».

Любители «литературы» в том смысле слова, в котором ее искали в Древней Руси представители русской интеллигенции, с гораздо большим успехом удовлетворяют свой интерес за счет литературы других эпох и других народов. Древнерусская литература просто неконкурентоспособна в том отношении, в котором ей интересуются любители «Слова о полку Игореве». Рядовой читатель, пусть даже с интересом прочитавший «Слово» и осиливший заодно и «Задонщину» и еще несколько воинских повестей, далее с еще большим интересом переключится на какие-нибудь исландские саги или рыцарские романы, но не на «Великие Минеи Четии» митрополита Макария и даже не на «Повесть временных лет».

Для «широкого» читателя интерес к древнерусской литературе возможен, и он есть, но проявляется он через интерес к русской истории и к православию. Надо сказать, что к аутентичным интересам древнерусских книжников это все-таки гораздо ближе, чем «романтическая» концепция древнерусской литературы, созданная интеллигенцией.

Понимаю, что у Буланина уже готово на это возражение: ведь нынешний интерес ни к истории, ни к религии все равно далеко не совпадает с интересом к тем же предметам у древнерусского книжника. Да, не совпадает. Но тут хотя бы совпадает другое: интерес к книгам как к руководству к действию, а не как к предмету для любования.

Любая средневековая христианская литература неконкурентоспособна, как неконкурентоспособна яблоня в качестве растения, поставляющего цветы для нюхания. Но зато яблоня будет лучше каких-нибудь орхидей, если требуются плоды, чтобы есть.

Поэтому современный «широкий» читатель говорит с любым поставщиком научной литературы на книжный рынок бессмертными словами анонимного Лица Кавказской Национальности: «Кушать лублу, а так — нэт».

Ни современный читатель non-fiction литературы, ни средневековый книжник не хотят покупать книги для «так», то есть для того, чтобы, как принято у интеллигенции, любоваться красотами стиля и тонкостью передачи эмоциональных состояний героев.

Средневековая литература писалась не для этого, и читают ее сегодня, в основном, не для этого.

Поэтому памятники древнерусской литературы, когда их издают в религиозно-исторических сериях издательств «Языки славянской культуры» или Олега Абышко, находят своего покупателя и читателя, а когда они выходят в серии «Библиотека литературы Древней Руси» — все оказывается не так гладко...

6. Как мы тут будем без них

Те события, о которых Розанов сказал словами «Когда начальство ушло», неожиданно обернулись для русской науки нашествием интеллигенции. Интеллигенция в ней была

и раньше, но вела себя относительно тихо, так как наука в России определялась международными стандартами, а не корпоративными нормами интеллигентской «этичности».

Большевики послужили орудием отмены этих стандартов и провинциализации наших гуманитарных наук. Вместо этого наступил период единства и борьбы противоположностей — всеобщей «мичуринской биологии» и интеллигентской «этичности».

Большевики, впрочем, стали новым «начальством», пока не пришел и их черед уходить. Прошло несколько лет, и интеллигенция убеждается, что и ей пора вслед за ними.

Не будем ее в этом разубеждать.

А ко всяким мрачным и, может быть, не вполне здоровым сентенциям Буланина относительно нынешнего состояния нашего народа отнесемся с пониманием и сочувствием.

Что же касается той части интеллигенции, которая все еще способна к полезному труду, будь то наука или книгоиздание, — то постараемся ей оказывать всяческую поддержку, психологическую и материальную.